



Максим Гуреев

Сергей
Довлатов
Остановка на местности

Опыт концептуальной биографии

Биографии
XX
века



Максим Александрович Гуреев
Сергей Довлатов. Остановка
на местности. Опыт
концептуальной биографии
Серия «Биографии XX века»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63072840

*Сергей Довлатов. Остановка на местности. Опыт концептуальной биографии / М. Гуреев: АСТ; Москва; 2020
ISBN 978-5-17-109898-8*

Аннотация

Как часто мы стараемся заглушить внутренний диалог? Тот голос, который толкает нас на разного рода безумства, лишь бы не замереть в неподвижности, лишь бы не потеряться в потоке бурлящей вокруг жизни...

Вариант ответа на эти вопросы предлагает писатель Максим Гуреев в своей новой книге об одном из лучших, но не признанных в свое время прозаиков – Сергее Довлатове.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Содержание

Предисловие	5
Двойник	7
Сережа Мечик	25
Конец ознакомительного фрагмента.	39

**Максим Гуреев
Сергей Довлатов.
Остановка на
местности. Опыт
концептуальной биографии**

«Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят».

Сергей Довлатов

«Редкое свойство русского писателя оказаться старше, чем ты рожден».

Андрей Битов

*«на улице меняющей названья
легко и сообразно освещенью
он пережил науку выживания
дойдя туда откуда нет прощенья».*

Виктор Кривулин

Предисловие

Историю, как родителей и родину, не выбирают. Свою собственную в том числе. Она такая, как есть, и все попытки ее переписать оказываются занятием бессмысленным и бесполезным. Другое дело, что уже после того, как это приключение, именуемое жизнью, заканчивается, начинается другая история, во многом альтернативная, к которой, впрочем, сам виновник события уже не имеет никакого отношения.

Как остроумно заметил питерский прозаик Валерий Попов, «это уже после смерти Сережа так чудовищно зазнался». Вот уж воистину, кто бы мог подумать, что долгий и мучительный поход Довлатова за литературным признанием, читай, славой завершится его смертью в возрасте 48 лет, после которой и признание, и слава, и тиражи будут оглушительными, просто сам Сережа ничего этого уже не увидел и не увидит.

Едва ли мечтал о таком развитии сюжета, но сложилось именно так...

«У нас любить умеют только мертвых», – сказал в свое время Битов.

И действительно, Довлатова полюбили захлеб все, а история его жизни, та самая, которую не выбирают, оказалась затерянной среди бесконечных баек, анекдотов и мифов, связанных с его именем.

Не печатали,пил, любил женщин, снова пил, уехал в Америку, стали публиковать, умер, выходя из запоя. На этом, как правило, большинство воспоминаний, они же монографии о Довлатове, заканчиваются. Тема видится исчерпанной в свете разрозненных (по большей части комических) фрагментов, за которыми Сережу-то и не разглядеть. Остается только читать его тексты, но и они не являются автобиографическим источником, потому что это литература, взгляд на себя и на окружающих его людей Довлатова-прозаика.

Но ведь был и другой Довлатов, о котором нам, увы, мало что известно, а стены на Рубинштейна и квартиры на Форест-Хиллс в Нью-Йорке, узкие улочки Таллина и поля окрест сельца Михайловское молчат.

Не потому, что что-то скрывают, а потому, что не умеют говорить.

Эта книга является опытом прочтения биографии Сергея Донатовича, реального и вымышленного, писателя и его двойника. Тем самым опытом, о котором сказано, что он есть «сын ошибок трудных».

Что же касается до «работы над ошибками» (без нее никуда!), то это, как мыслится, уже дело читателей и критиков.

Двойник

Двойника привели в помывочную, раздели и велели залезть в покрытую желтыми разводами ванну-кювету, которая едва доходила ему щиколоток.

Голый человек закашлялся при этом, забился в судорогах, а когда его отпустило, то сел на корточки, обхватив себя за колени, и так замер в ожидании кипятка.

Санитар ушел в бойлерную давать воду.

Из приемного отделения сообщили, что этого пациента, уже имевшего одну судимость, привезли сюда из Обуховской колонии строгого режима, где он отбывал наказание за угон грузовика, на котором задавил человека. Расконвоировали его, впрочем, довольно быстро, потому что он был болен, и явно, что долго не протянет.

Человек затравленно оглядывался по сторонам.

На его синие острые колени было жутко смотреть, и казалось, что руки, покрытые порезами, шрамами и татуировками, выглядели длинней, чем эти ноги, которые они обхватили.

Наконец выкрашенные зеленой краской трубы заурчали, и из самодельной лейки душа полилась вода.

Пар начал постепенно заполнять помывочную.

Двойник поднялся, уперся обеими руками в кафельную стену, как при досмотре, и так замер, будто поддерживал эту

самую стену или сам держался за нее, чтобы не упасть. Было видно, что он дрожит. Затем, словно очнувшись, сложил руки по швам и, видимо, по лагерной привычке выполнил команду «кругом».

Только теперь стало понятно, что этот человек как две капли воды похож на другого человека – одного ленинградского писателя, о котором много говорили в это время, которого не печатали, но о котором все знали.

А ведь когда-то до своей тюремной жизни двойник был совсем другим – стройным, черноволосым, мощного телосложения, боксер как-никак в прошлом, а еще он обладал той обворожительной улыбкой, при виде которой женщины умирали сразу, без мучений и страха, раз и навсегда, лишь повторяя перед своей безвременной кончиной, словно мантру, слова: «Милый, милый, Боренька».

Почему-то всякий раз в минуты расставания со своей очередной пассией, а также в иные минуты, когда задыхался от слез, обиды, бешенства и хотелось наложить на себя руки, Боренька вспоминал, как однажды в школе, в десятом классе, накануне Дня физкультурника, это было как раз за неделю до выпускных экзаменов, он взял да и помочился на директора школы по фамилии Чеботарев, более известного под кличкой Легавый.

То есть в минуты принятия сакраментальных решений и вспоминал, получается.

«Как это – помочился?» – всякий раз спрашивал сам се-

бя, обуруваемый любопытством. При этом следует заметить, что тоска по утраченным чувствам и женщинам, а также отчаяние, приносимое одиночеством, как-то проходили сами собой.

«Да очень просто! Дождлся, когда Легавый подошел к двери, чтобы войти в школу, быстро вскочил на подоконник, открыл окно, благо оно располагалось прямо над парадным входом, расстегнул ширинку и помочился на Чеботарева, – отвечал сам себе мысленно, разумеется, посмеивался и продолжал повествование, – Ты что, забыл, что ли, как Легавый сначала не понял, что происходит. Он подумал, что это дождь начинается, ведь тогда был пасмурный день, даже остановился, застигнутый врасплох. Видимо, пожалел, что не взял с собой зонт. Но меня выдали мои одноклассники, вернее, их смех выдал, не сдержались поганцы, особенно девчонки, прыснули и тут же стали зажимать рты ладонями. А Чеботарев тогда поднял лицо вверх и понял, что это вовсе не дождь никакой. Он сорвал с головы свою зеленую фетровую шляпу и заорал:

– Да я таких, как ты, бушлатом по зоне гонял! Ты у меня, сучара бацильная, дерьмо будешь хавать! Ты у меня, падла, на зоне сгниешь!»

«А у него точно была зеленая шляпа?»

«Абсолютно точно! Никаких сомнений тут быть не может. Он еще бросил ее на землю и принялся топтать в ярости, и я подумал – неужели ему не жалко свою шляпу, ведь она такая

красивая и, видимо, дорогая».

«Ну и зачем ты это сделал? Скажи».

«Странный вопрос. Ты ведь знаешь на него ответ. Это возникло само собой, это было как вдохновение, это пришло как поэтическая рифма. Ведь ты не спрашиваешь у поэтов, откуда у них берутся рифмы!»

«Да, не спрашиваю, потому что ты не поэт, а это не рифма».

«Согласен с тобой, это был глоток свободы, своего рода озарение, которое возникло, как вспышка. А потом она погасла, и я совершенно потерял ко всему происходящему интерес. То есть полностью утратил его. Словно бы это меня уже и не касалось. Застегнул штаны, закрыл окно и слез с подоконника».

На этих словах санитар перекрыл воду.

Затем вернулся в помывочную, бросил голому человеку простыню, в которую тот сразу же завернулся, для себя же он сделал стакан крепчайшего краснодарского чая с лимоном, сел к столу и, отхлебывая густое дымящееся пойло, стал что-то записывать в большую, взлохмаченную по краям, как давно нестиранное белье, амбарную книгу.

Простыня тем временем облепила мокрое тело двойника.

Лимон всплыл на поверхность, но санитар терпеливо утопил его чайной ложкой, на которой был выгравирован земной шар, а над ним восходила пятиконечная звезда и летел голубь мира.

Потом пациента облачили в пижаму, заставили открыть рот, проверили состояние зубов и языка, не обложен ли, и повели в кабинет главврача, где уже собрались заведующая терапевтическим отделением Сторожева, хирург Бойко, психиатр Шумский, больничный завхоз Куценко и два особиста в штатском, один из которых напоминал французского философа-марксиста Жан-Поля Сартра.

Путь на консилиум в кабинет главврача оказался неблизким – для этого пришлось миновать два корпуса, соединенных наглухо забитыми досками коробами-переходами, пройти ряд галерей старинного образца, ведь это была больница еще дореволюционной постройки, взойти по широкой мраморной лестнице с чугунными перилами.

Тут, кстати, двойник попросил у сопровождавшего его конвоира разрешения остановиться рядом с обрезком трубы, прикрученной рядом к лестничному маршу в качестве турника, и подтянуться на нем.

Такое разрешение он получил и подтянулся семь раз.

Спрыгнул.

Сделал несколько дыхательных упражнений.

Почувствовал, что еще сохранил остатки былых сил, когда мог на турнике делать подъем переворотом, а также выходы силой.

Потом, наконец, поднялись на третий этаж, где кабинет главврача и располагался.

Первым заговорил сартроподобный особист:

– Нам стало известно, что ваш брат – Сергей Донатович Довлатов – принял решение покинуть СССР и переехать на постоянное место жительства в США. Как вы можете это прокомментировать?

– Никак.

– То есть вам ничего об этом не известно? – деланно скрипелся вопрошающий и, прикрыв ладонью рот, икнул.

– Нет, ничего.

– А вам известно, что жена Сергея Донатовича – Елена Давидовна Ритман – вместе с дочерью Екатериной планирует в ближайшее время выехать в США?

– Да, я слышал об этом.

– Скажите, Борис, а у вас никогда не возникало желания эмигрировать?

– Честно говоря, никогда об этом как-то не задумывался.

– Неужели? Вы же еврей.

– Да не еврей я.

– Ну как это – не еврей... Вы себя в зеркале видели?

– Конечно. Довольно часто наблюдаю себя, когда бреюсь, например.

– Шутить изволите?

– Нисколько. У меня просто мать армянка.

– Очень интересно. А отец?

– А отец русский.

– Ах, русский! С такой самой распространенной русской фамилией Аптекман и славянским именем Арон?

– Да.

Службист побагровел:

– Вы, Борис Аронович, или Александрович, вообще понимаете, где находитесь?

– Конечно. В больнице нахожусь.

– А с кем разговариваете?

– Не очень, если честно. Кстати, вам никогда не говорили, что вы очень похожи на французского писателя Жан-Поля Сартра.

– Прекратите мне хамить, Довлатов.

– А что ж в этом плохого? Он, между прочим, был марксистом.

– Нет, вы не понимаете, почему вас сюда привезли и почему вытащили из той дыры, где вы гнили последние годы!

– Вот это мне действительно невдомёк.

– Оно и видно! – почти выкрикнул особист, пристукнув кулаком по столу, затем окинул из-под запотевших от возбуждения очков консилиум торжествующим взглядом и принялся что-то записывать в толстый, явно давно используемый по назначению блокнот.

Теперь в разговор включился его коллега, чья внешность ничем не отличалась от сотен или даже тысяч себе подобных, и потому говорить в данном случае о каких-либо сравнениях, подобиях и аналогиях применительно к этому персонажу не приходилось.

– Борис, мы знаем, что вы человек яркий, талантливый,

неординарный, – сразу стало ясно, что это заговорил «добрый следователь», – отличник, комсомолец – общественник, чего, кстати, нельзя сказать о вашем брате. Да, остутился в свое время, да, пошел по кривой дорожке, просто жизнь так повернулась, с кем не бывает. Однако встал на путь исправления, и мы хотим протянуть вам руку.

– В каком смысле?

– Да в прямом, руку помощи, – «добрый следователь» заулыбался и со значением посмотрел на собравшихся, что сразу же закивали ему в ответ. Жан-Поль Сартр при этом продолжал что-то сосредоточенно записывать в свой блокнот.

– Мы хотим исправить возникшую относительно вас и вашего брата несправедливость и в качестве писателя отправить в Америку именно вас. Действительно, ну почему туда должен ехать ваш брат Сергей – пьяница, дебошир, тунеядец, человек политически неустойчивый? Да и ехать он туда не хочет, как нам известно. А вы человек зрелый, серьезный, и самое главное – мы доверяем вам.

– Благодарю, конечно, за доверие, но я же не писатель!

– Ну так станете им, дорогой Борис. Слава богу, в России с этим никогда проблем не было. Оказаться в ряду литераторов, которые работают с нами, – это очень почетно, замечу вам.

– Тем более, – неожиданно включился в разговор «злой следователь», похожий на французского философа-марксиста.

ста, – вашего брата никто в Америке не знает в лицо, а вы с ним похожи друг на друга как две капли воды, да и вообще для них, для империалистов, что русские, что евреи, что армяне – все на одно лицо!

– То есть вы мне предлагаете стать двойником Сережи?

– Ну можно и так сказать, – «добрый следователь» встал из-за стола и подошел к окну, – а вот собравшиеся здесь коллеги подлечат вас, вернут к жизни, так сказать, и писатель Довлатов поедет покорять Новый Свет, правдиво рассказывать о достижениях советского человека. И еще один момент. Разумеется, Борис, все это между нами. Лишние уши, как говорится, – это лишние проблемы, которые никому из нас не нужны.

– А что будет с Сергеем?

– Ничего. Будет жить в Ленинграде, как и жил, или... где он там сейчас?

– К Луге подъезжает, Николай Николаевич, – не отрываясь от блокнота, откликнулся сартрообразный...

Сергей проснулся от того, что больно ударился лбом о поручень переднего сиденья автобуса, когда шофер крутанул руль, съезжая с трассы на привокзальную площадь, и тут же резко дал по тормозам.

Горчичного цвета здание с колоннами дернулось и замерло, угрожающе нависнув над запыленным окном ЛАЗа.

Значит, вся эта история с помывочной в больнице, двойником и Борисом ему приснилась?

Получается, что так, впрочем, какое-то смутное ощущение, что он уже видел нечто подобное, проскочило.

Как вспышка.

Ладно, пустое...

С одной стороны, конечно, можно было выдохнуть с облегчением, но, с другой, был раздосадован совершенно, ведь так и не узнал – согласился ли его брат на предложение особистов стать его двойником, пусть все это и происходило во сне, но где-то в глубине подсознания вопрос так и остался без ответа, в подвешенном состоянии, если угодно, и отвечать на него можно было исключительно по своему усмотрению.

«Конечно, согласился! Было бы глупо отказываться!»

«Разумеется, не согласился! Как такое вообще могло прийти в голову!»

«Что за бредовый сон!»

Часы на здании вокзала показывали полдень.

Из повести Сергея Довлатова «Заповедник»:

«В двенадцать подъехали к Луге. Остановились на вокзальной площади... Вокзал... Грязноватое желтое здание с колоннами, часы, обесцвеченные солнцем дрожащие неоновые буквы... Я пересек вестибюль с газетным киоском и массивными цементными урнами. Интуитивно выявил буфет... сел у двери. Через минуту появился официант с громадными войлочными бакенбардами.

– Что вам угодно?

– Мне угодно, – говорю, – чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны.

Официант, пресыщенный разнообразием жизни, молчал.

– Мне угодно сто граммов водки, пиво и два бутерброда.

– С чем?

– С колбасой, наверное...

Я достал папиросы, закурил. Безобразно дрожали руки. «Стакан бы не выронить...». Официант принес графинчик, бутылку и две конфеты.

– Бутерброды кончились, – проговорил он с фальшивым трагизмом.

Я расплатился. Поднял и тут же опустил стакан. Руки тряслись, как у эпилептика... обхватил стакан двумя руками, выпил. Потом с шуршанием развернул конфету...

Стало немного легче. Зарождался обманчивый душевный подъем. Я сунул бутылку пива в карман. Затем поднялся, чуть не опрокинув стул. Вернее, дюралевое кресло. Я вышел на площадь. Ограда сквера была завешена покоробившимися фанерными щитами. Диаграммы сулили в недалеком будущем горы мяса, шерсти, яиц и прочих интимностей.

Мужчины курили возле автобуса...

В львовском автобусе было тесно. Коленкоровые сиденья накалились. Желтые занавески усиливали ощущение духоты.

Я перелистывал «Дневники» Алексея Вульфа. О Пушкине говорилось дружелюбно, иногда снисходительно... Я задремал».

Надеждам на то, что Сергею приснится продолжение сна о его брате и двойнике, не суждено было сбыться.

Какое-то время он даже пытался заставить себя восстановить сюжет прерванного неловкостью шофера сновидения, но ничего из этой затеи не получалось.

Голова гудела от духоты.

А в духоте, как известно, сны носят невразумительный характер, они отрывочны, туманны, балансируют на грани с явью, и уже невозможно разобрать, что есть реальность с ее провонявшим масляным прогаром салона автобуса, а что есть сновидение, когда события отстают от времени, запаздывают, и картинка движется как в замедленном кино. Скорее, это были видения, фата-моргана, миражи сознания, частота возникновения которых вызывала дурноту:

– вот недовольное лицо жены Лены, которая, как всегда, говорит громко и внятно, не отводя глаз от собеседника: «Даже твоя любовь к словам, безумная, нездоровая, патологическая любовь, – фальшива. Это лишь попытка оправдания жизни, которую ты ведешь. А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок».

– вот улыбающееся лицо Леонида Ильича Брежнева, читающего по сценарию собственное обращение к советским

гражданам: «Мои воспоминания, конечно, не претендуют на полный охват событий. Главное, что мне хотелось передать на этих страницах читателю, – это чувство гордости за то, что в авангарде всех дел и свершений нашей Родины всегда идут коммунисты, наша славная партия».

– вот задумчивое лицо брата Бори, который молчит.

– вот печальное лицо отца Доната Исааковича Мечика, который перебирает письма от своего сына Сережи, останавливает внимание на одном из них, в котором написано: «Здесь стоит страшная жара. Пластилин у нас постепенно превращается в жижу... Папа, привези его, пожалуйста. А еще привези, если сможешь достать, шарики для пинг-понга. А то у нас есть три ракетки, а шариков нет».

– вот неподвижное лицо Самуила Яковлевича Маршака, который в недоумении слушает стихи в исполнении 13-летнего Сережи Мечика.

*Под ветром лес качается,
И понимает лес,
Что там, где след кончается,
Сосновый будет крест.*

*А снег сверкает кафелем,
Дорога далека,
И смерть висит, как капелька,
На кончике итыка.*

– вот лицо мамы, которая спрашивает с обреченным видом: «Тебя правда отчислили из университета? Ты действительно продал свое пальто? Ты будешь ужинать?»

– и вот наконец раскрасневшийся затылок водителя автобуса, который тщательно выбрит и, скорее всего, принадлежит бывшему военнослужащему, настолько он молодцеват и гладок, сообщает: «Станция Псков!»

Из повести Сергея Довлатова «Заповедник»:

«Разбудили меня уже во Пскове. Вновь оштукатуренные стены кремля наводили тоску. Над центральной аркой дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского вида, кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет... нас повезли в «Геру» – самый фешенебельный местный ресторан.

Я колебался – добавлять или не добавлять? Добавишь – завтра будет совсем плохо. Есть не хотелось...

Я вышел на бульвар. Тяжело и низко шумели липы».

Но когда они шумели? В каком году?

С этим, конечно, следовало бы разобраться – дело в том, что, сезонно работая экскурсоводом в Пушкинских горах в 76–77 годах, Довлатов, соответственно, посещал Псков дважды по пути к месту работы, и всякий раз город затягивал.

Так, в июле 76 года «завис» в Пскове на четверо суток, потому что, по собственному признанию, тут запил.

Сначала была злосчастная «Гера», потом бульвар, потом какие-то дворы с качелями, потом опять «Гера», потом при вокзальная рюмочная, затем кафе-стекляшка у автостанции и наконец берег реки Великой. Здесь оказалось возможным прилечь в одну из вросших в песок «казанок» и закрыть глаза, чтобы ничего и никого не видеть, а главное, ни о чем не думать, о том, например, что тебе скоро уже 35 лет, а ты ничего не достиг, ничего не приобрел, кроме долгов, бесконечных семейных драм и ни к чему не ведущих связей, приобрел разве что отчаянную сродни хроническому заболеванию мысль о том, что никакой ты не писатель, а обычный графоман, который страдает любовью к словам как разновидностью паранойи. Вот, например, брат Борис, при том, что имел две судимости, был куда более удачливым и состоявшимся человеком. Может быть, сон про двойника увидел неспроста, и он был пророческим. Действительно, лучше бы Боря стал человеком публичным, видным диссидентом, литератором-эмигрантом, а он – Сережа Довлатов – остался бы жить тут на берегу реки Великой или в Михайловском, до которого оставалось еще около полутора часов пути, став со временем великим писателем земли Псковской.

P.S.

Эпизод, с которого начинается эта книга, навеян просмотром картины режиссера Алексея Германа «Хрусталеv, машину!», а вернее, эпизодом, в котором главный герой филь-

ма, генерал медицинской службы Юрий Кленский, встречается своего двойника, появление которого в госпитале связано с деятельностью МГБ по подготовке так называемого «дела врачей».

Алексей Герман вспоминал впоследствии:

«Когда я запускался с фильмом «Хрусталеv, машину!», я задумал на роль генерала пригласить Сережу Довлатова, а на роль его двойника – Борю. И это было бы очень точно. Они все еще были похожи, но один был нежным красавцем, от которого женщины падали, а у другого на лице были уже две тюрьмы (он, по-моему, болел краснухой, и вся кожа на лице у него была испорчена). Боря выглядел как некий шарж на своего младшего брата. О том, что я собирался его снимать, Сережа не знал, я держал это в секрете. Но вскоре оба брата (сначала Сережа, потом Боря) умерли».

Этот выбор режиссера был неслучаен.

Дело в том, что Боря Довлатов и Леша Герман был хорошо знакомы еще с детства, вместе занимались боксом, а Маргарита Степановна (Мара) – мама Бори – была литературным редактором и работала с отцом Леша, известным ленинградским писателем Юрием Павловичем Германом. Спустя годы именно к нему Маргарита Степановна обращалась за помощью, когда ее сын впервые оказался на скамье подсудимых.

Сережа был младше Бориса на три года.

В детстве они совершенно не были похожи, и лишь с возрастом, по мере пережитого и пройденного, стало проявляться их подобие.

Все закончилось в 1990-ом году – сначала не стало Сергея, затем вслед за ним ушел и Боря.

А продолжение описанного выше сна могло быть таким:

– То есть вы мне предлагаете стать двойником Сережи?

– Именно так.

– Надо подумать, – проговорил Борис, но было видно, что внутренне решение он уже принял.

– А вы подумайте, подумайте, Борис, мы плохого не предложим, – пропел «добрый следователь». – Я правильно говорю, товарищи? – обратился он к консилиуму.

– Конечно! Да тут и спора нет! Разумеется! Только хорошее! – донеслось с мест.

– Для еврея, да еще и в таком положении, в каком вы находитесь, другого выбора просто нет, – неожиданно громко, словно проснулся, заключил, как отрезал, сартроподобный и с грохотом захлопнул свой блокнот.

– Выбор есть всегда, – Боря медленно поднялся со своего места, потянулся, словно разминал затекшие после долгого сидения члены, сноровисто перегнулся через стол и со словами «например, вот такой» провел хук справа в голову «злого следователя».

– Да ты у меня, падла, на зоне сохнешь! – неожиданно перешел на фальцет «добрый следователь», соответственно,

сразу перестав быть им, то есть, добрым. – Ты меня, сука, еще о пощаде молить будешь!

Сотрудники больницы при этом повскакивали со своих мест, с грохотом опрокидывая стулья, и принялись оказывать первую медицинскую помощь двойнику французского писателя-марксиста, который беспомощно лежал на полу, издавая булькающие звуки впавшего в беспамятство, оглоушенного перед забоем борова.

– Убил, убил меня, гад... – едва мог хрипеть особист, размазывая кровь по лицу.

Глаза его при этом закатились.

Борис меж тем абсолютно спокойно снова сел к столу, обернулся к воображаемому брату, чье присутствие во сне, теперь уже непонятно чьем, было не менее фантазмагоричным, нежели все происшедшее в кабинете главврача, посмотрел на него пристально, будто бы перед ним был объектив кинокамеры, и проговорил с усмешкой:

– Вот я и ответил на твой вопрос, Сережа.

Серезжа Мечик

В один из дней октября 1941 года по городу Уфа шел человек в пальто и без головного убора.

На пересечении улиц Гоголя и Коммунистической человек остановился.

Было видно, что он чем-то изрядно раздосадован.

Выражение лица он имел совершенно потерянное, взгляд блуждающий, губы его дрожали. Казалось, что его бьет озноб как при лихорадке.

– Гражданка, – обратился он к проходившей мимо молодой мамаше с коляской, – я пребываю в абсолютно отчаянном положении!

От неожиданности женщина остановилась как вкопанная.

– Что, извините?

– Да-да, я нахожусь в безнадежном положении!

– Что случилось, товарищ?

– У меня украли чемодан, – с трудом выдавил из себя человек в пальто и закрыл лицо ладонями, – в нем вся моя жизнь!

– Жизнь в чемодане?

– Да!

– Даже если это так, во что мне верится с трудом, то убиваться из-за этого не следует, – женщина приготовилась продолжить движение и качнула коляску вперед. – Бывает, не

переживайте, вот у моего мужа на первомайской демонстрации украли кошелек с деньгами и партбилет. Последствия были ужасны... Я про партбилет, разумеется.

– Боже, о чем вы говорите! В чемодане были мои рукописи! – человек затрясся, отнял ладони от лица, было видно, что он плачет.

– Рукописи? Вы писатель?

Не сразу, словно обдумывая ответ, он произнес «да», закивал головой и принялся вытирать лицо рукавом пальто.

– И какая же ваша фамилия?

– Климентов.

– Климентов? Нет, не знаю такого писателя.

– А кого вы знаете, позвольте полюбопытствовать?

– Горького знаю, Фадеева, Серафимовича...

– Вы ранили мое сердце, – человек замер на какое-то мгновение, словно именно сейчас он ощутил острую колющую боль от принесенного ему сердечного страдания, затем резко развернулся на каблуках, весьма, следует заметить, нечистых и стоптанных, и начал удаляться по Коммунистической улице в сторону Дома Наркомфина. Однако, сделав не более десяти-пятнадцати шагов, он остановился, вновь развернулся на месте и стремительно подошел к женщине.

– Простите, я хотел бы ущипнуть вашего славного малыша. – В голосе странного человека по фамилии Климентов звучали решительность и смущение одновременно.

– Вы сумасшедший!

– Нисколько...

– А меня, товарищ, вы не хотите ущипнуть?

– Нет, вас не хочу, хочу ущипнуть только вашего малыша, если позволите, потому что в своей безмятежности он не знает, что сейчас идет страшная война, потому что перед ним открыта новая бездна, новый блистающий мир, в который я уже не попаду. Это как прикоснуться к агнцу... понимаете, о чем я?

– Нет, не понимаю и понимать не хочу!

– Очень жаль, – вздохнул Климентов. – Война идет в душе каждого из нас, война есть ночь, на исходе которой все становится очевидным, явным, отчетливым, ослепительным, наконец, становится, при том что до того все было призрачным и оттого казалось несуществующим. Агнец как бы находится на этой грани яви и сна, он несет свет, ведь он безгрешен. Жертвенный агнец, принесенный на заклание, беспомощен и потому хранит в себе любовь, на которую, увы, не способен озверевший человек.

– Гражданин, оставьте нас в покое, или я позову милицию.

После этих слов лицо человека в пальто стало еще более печальным. Он растерянно развел руками, поклонился и стал пятиться назад, приговаривая при этом:

– Простите, простите меня...

Вернувшись домой, молодая женщина рассказала о происшедшем своему мужу Донату Исааковичу Мечуку и свекрови Раисе Рафаиловне.

– Писатель Климентов, говоришь? – переспросил жену Донат Исаакович.

– Да... что-то не слышала о таком.

– Это Андрей Платонов. Его повесть «Впрок» в «Красной нови» публиковали, она еще товарищу Сталину не понравилась.

– А почему?

– Не понравилась, и все тут, он тогда Платонова назвал агентом наших врагов и «сволочью».

– Страшное обвинение, – всплеснула руками Раиса Рафаиловна.

– «Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству новой жизни. Правда, было в таком явлении что-то трогательное и смешное, но это была трогательная неуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ирония гибели, – начал цитировать «Впрок» по памяти Донат Исаакович, – если бы таких обстоятельств не встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смешон новый человек, как Робинзон для обезьяны; нам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтобы он не покинул умирать нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого – сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого».

– Страшное это слово «сомнение», – вздрогнула молодая

женщина.

Из соседней комнаты раздался плач проснувшегося ребенка.

Сергея Мечик родился 3 сентября 1941 года в Уфе, в доме № 56 по улице Гоголя, куда из Ленинграда в эвакуацию приехали его родители и бабушка.

Здесь Мечики оказались благодаря содействию депутата Верховного Совета СССР, народной артистки СССР, кавалера ордена Ленина, впоследствии лауреата Сталинской премии Екатерины Павловны Корчагиной-Александровской, которая обратилась в Башсовнарком с просьбой оказать помощь двум ленинградским актрисам Прусаковой и Довлатовой, эвакуированным в Уфу.

На телеграмму Корчагиной-Александровской от 5 августа 1941 года уже 8 августа пришел ответ в виде докладной записки: «Эвакуированные из Ленинграда артистки Довлатова и Прусакова живут в Уфе, по улице Гоголя, 56, у сотрудника НКВД Копчунас в квартире № 20. Довлатова находится последние дни в декретном отпуске, должна уйти в родильный дом. Прусакова имеет шестимесячного ребенка. Обе крайне нуждаются материально. Просят помочь прикрепиться к продуктовому магазину, так как нигде ничего не получают. Прусакова просит устроить на работу, если не в театр, то хотя бы в ясли, так как живет на чужие средства, ребенка не может устроить в ясли. Мужья-добровольцы – в РККА, имеют справки. Принято решение – этих артисток вызвать и обес-

печить деньгами по 100 рублей, детей устроить в ясли, помочь продуктами, договориться с работой».

Дом, в котором стараниями Е. П. Корчагиной-Александровской поселилась Мечики-Довлатовы, был построен в 30-х годах в стиле позднего конструктивизма для сотрудников НКВД, благо Башкирское управление ОГПУ-НКВД располагалось по соседству на Коммунистической улице в бывшем особняке купца Лобанова.

Во дворе дома круглосуточно дежурил милиционер, и из окна кухни можно было наблюдать, как он под дождем и снегом, на пронизывающем ветру и июльской жаре отмеривал расстояние от подъезда к подъезду, от дверей черного хода к коллектору мусоропровода и обратно. Затем замирал в проеме арки, выходявшей на улицу, и начинал торопливо курить.

Владельцем квартиры № 20 на третьем этаже дома № 56 по улице Гоголя был некто Копчунас.

Это была первая коммуналка в жизни Сережи Мечика.

Спустя годы в своем сборнике «Наши» Сергей Довлатов так опишет уже свое питерское место обитания: «Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками – удручающая хроника коммуналного подсознания.

Мать-одиночка Зоя Свистунова изображала полевые цветы.

Жизнелюбивый инженер Гордей Борисович Овсянников старательно ретушировал дамские ягодицы.

Неумный полковник Тихомиров рисовал военные эмблемы.

Техник Харин – бутылки с рюмками.

Эстрадная певица Журавлева воспроизводила скрипичный ключ, напоминавший ухо.

Я рисовал пистолеты и сабли...

Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно).

Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие. Тайная война не утихала. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала...

По коридору бегали дети. Грохотал военными сапогами Тихомиров. Таскал свой велосипед неудачник Харин. Репетировала Журавлева».

Ассоциативные параллели: мать-одиночка Свистунова и артистка Прусакова с шестимесячным ребенком, полковник Тихомиров в яловых сапогах и сотрудник НКВД Копчунас, который, как и всякий прибалт, предпочитал мрачно выпивать в одиночестве.

Однако курить он почему-то всегда выходил на кухню, видимо, чтобы пообщаться с контингентом, тем более что людей театра он встречал нечасто.

Неспешно открывал форточку, садился на подоконник, долго смотрел на несущего свою вахту дворового милици-

онера, а потом начинал говорить, вернее, бубнить. Прибалтийский акцент добавлял его повести депрессивной размерности и невыносимого уныния.

Самым его благодарным слушателем в коммуналке была, как ни странно, Раиса Рафаиловна.

Выбираясь из клубов сизого дыма, Копчунас в который раз рассказывал своей жиличке о том, как в 28 году громил банду Мухамадеева и как брал наводившего ужас на всю Уфу известного душегуба Мишку Культяпого.

«Тогда при задержании двое наших погибли. Вот я и договорился с конвойными, чтобы они на этапе инсценировали побег Культяпого. Они все сделали, как договорились, и Мишку этого при попытке к бегству пристрелили. Так отомстил этому гаду».

Копчунас тяжело вздыхал, видимо, сожалея о том, что не кончил этого разбойника собственноручно, а потом неожиданно выдавал:

– Вот ведь как странно получается, Раиса Рафаиловна, вы жена врага народа, и семья ваша – семья врага народа, а я тут с вами разговариваю по душам, откровенен бываю, и живете вы у меня...

Формально «врагом народа» в семье Мечиков был дед, муж Раисы Рафаиловны – Исаак Моисеевич Мечик, расстрелянный в январе 38 года.

О своем деде Сергей Довлатов писал так: «Наш прадед Моисей был крестьянином из деревни Сухово. Еврей-кре-

стьянин – сочетание, надо отметить, довольно редкое. На Дальнем Востоке такое случилось.

Сын его Исаак перебрался в город. То есть восстановил нормальный ход событий.

Сначала он жил в Харбине, где и родился мой отец. Затем поселился на одной из центральных улиц Владивостока.

Сначала мой дед ремонтировал часы и всякую хозяйственную утварь. Потом занимался типографским делом. Был чем-то вроде метранпажа. А через два года приобрел закусочную на Светланке.

У деда было три сына. Младший, Леопольд, юношей уехал в Китай. Оттуда – в Бельгию...

Старшие, Михаил и Донат, тянулись к искусству. Покинули захолустный Владивосток. Обосновались в Ленинграде. Вслед за ними переехали и бабка с дедом.

Сыновья женились.

Устроился он работать кем-то вроде заведующего жилконторой. Вечерами ремонтировал часы и электроплитки. Был по-прежнему необычайно силен.

Я уже говорил, что младший сын его, Леопольд, оказался в Бельгии. Как-то раз от него прибыл человек. Звали его Моня. Моня привез деду смокинг и огромную надувную жирафу. Как выяснилось, жирафа служила подставкой для шляп.

Моня поносил капитализм, восхищался социалистической индустрией, затем уехал. Деда вскоре арестовали как бельгийского шпиона. Он получил десять лет. Десять лет без

переписки. Это означало – расстрел».

Копчунас угрожающе замолчал.

– Да, мы вам благодарны, Йонас Вайткусович, за то, что приютили нас у себя, – нарушала тягостную тишину Раиса Рафаиловна. – Что бы мы без вас делали... – Было видно, что она оправдывается, а в голосе ее звучали затаенная тоска и деланное воодушевление одновременно.

– Меня тут благодарить не за что, – еще более мрачнел Копчунас, – мне партия приказала вас поселить, я и поселил, а приказала бы расстрелять, как врагов народа, в расход пустил бы, не задумываясь, хотя вы, я вижу, люди хорошие, хоть и еврейской нации, но партии видней. – С этими словами Копчунас захлопывал форточку и уходил к себе в комнату, где допоздна разбирал, чистил и вновь собирал свой табельный ТТ.

Из-за стен доносился детский плач и крик артистки Прусаковой, громкий шепот Доната Исааковича и гудение воды в батареях парового отопления.

В доме на Гоголя семья Мечиков-Довлатовых прожила под присмотром товарища Копчунаса около года, вплоть до того момента, когда в составе труппы Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (ныне Александринка), в котором служил Донат Исаакович, не эвакуировалась дальше на восток в Новосибирск, а, вернее, в Сталинск (ныне Новокузнецк, 300 км. от Новосибирска в сторону Абакана), где отец Сережи получил должность ассистента

режиссера и завлита местного театра «Красный факел».

Вспоминая ту поездку на восток, мать Сережи Нора Сергеевна Довлатова (Довлатян) рассказывала, что, когда поезд с эвакуированными остановился в Кургане, на перрон вывалили местные доходяги в каком-то тряпье и пацаны, перепачканные углем, они курили, тыкали в пассажиров эвакуэшелона пальцами и хохотали, приговаривая «жидков привезли, жидков привезли».

Потом паровоз издавал пронзительный гудок, состав дергался, и платформа вместе с этими странными, словно бы с картин Босха сошедшими людьми начинала медленно уплывать назад.

Переживший эвакуацию Иосиф Александрович Бродский¹ так описывал апокалиптические картины того времени: «Люди ехали на крыше, на сцепке, на всяких выступах. Я очень хорошо помню: белые облака на голубом небе над красной теплушкой, увешанной народом в выцветших желтоватых ватниках, бабы в платках. Вагон движется, а за ним, хромая, бежит старик. На бегу он сдергивает треух и видно, какой он лысый; он тянет руки к вагону, уже цепляется за что-то, но тут какая-то баба, перегнувшись через перекладину, схватила чайник и поливает ему лысину кипятком. Я вижу пар».

Вот опустевшую платформу сменило красного кирпича здание депо, потом почерневшие от времени бараки путевых

¹ Иосиф Бродский, поэт (здесь и далее прим. авт.)

рабочих, которые по мере набора поездом скорости слились в единую, неразличимую темную массу, перемешались с телеграфными столбами, погрузились в сумерки и растворились в кривых, разрозненных одиноко стоящими вагонами и паровозами перелесках.

А ЖД-ветки стелились по земле, змеились, происходя одна из другой, имея при этом разное направление и назначение – эта линия на лесобиржу, а эта на лагпункт.

Из повести Сергея Довлатова «Зона»:

«Шестой лагпункт находился в стороне от железной дороги. Так что попасть в это унылое место было нелегко. Нужно было долго ждать попутного лесовоза. Затем трястись на ухабах, сидя в железной кабине. Затем два часа шагать по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Короче, действовать так, будто вас ожидает на горизонте приятный сюрприз. Чтобы наконец оказаться перед лагерными воротами, увидеть серый трап, забор, фанерные будки и мрачную рожу дневального... Прежде чем выйти к лесоповалу, нужно миновать знаменитое Осокинское болото. Затем пересечь железнодорожную насыпь. Затем спуститься под гору, обогнув мрачноватые корпуса электростанции. И лишь тогда оказаться в поселке... Половина его населения – сезонники из бывших зеков... Годами они тянули срок. Затем надевали гражданское тряпье, двадцать лет пролежавшее в каптерках. Уходили за ворота, оставляя позади

холодный стук штыря. И тогда становилось ясно, что желанная воля есть знакомый песенный рефрен, не больше. Мечтали о свободе, пели и клялись... А вышли – и тайга до горизонта...

Видимо, их разрушало бесконечное однообразие лагерных дней. Они не хотели менять привычки и восстанавливать утраченные связи. Они селились между лагерями в поле зрения часовых. Храня, если можно так выразиться, идейный баланс нашего государства, раскинувшегося по обе стороны лагерных заборов».

Именно эти люди и выходили на перроны затерянных на бескрайнем пространстве станций и на не ведомые никому, кроме машинистов и путевых рабочих, ЖД-разъезды.

Заглядывали в грязные, закопченные окна проезжающих мимо поездов, откуда на них смотрели чумазые, перепуганные люди.

Они были для них чужими, приехавшими из своей сытой столичной жизни переждать здесь беду, пересидеть, нарушить раз и навсегда установленный тут лагерный порядок – порядок нищеты и бесправия, порядок, при котором жизнь не имеет цены и смысла.

Эвакуированные разве что были годны для того, чтобы на них играть в карты.

Ходили слухи, что на больших станциях, где перецепляли паровозы, исчезали молодые женщины, на которых уголовники «кляли глаз» и выигрывали у других уголовников

в карты.

Итак, провожали ненасытными взглядами, своими рыбьими глазами, уносящиеся на восток эшелоны, курили, лыбились, переругивались, дрались, жгли костры, подсаживали кого-нибудь из своих «на перо», тянули тем самым время, чтобы дождаться, когда эти же эшелоны пойдут обратно, чтобы все повторилось.

И дождались.

Летом 1944 года семья Мечиков-Довлатовых вернулась из эвакуации в Ленинград.

Две смежные комнаты на Рубинштейна, 23, Нора Сергеевна Довлатова получила еще до войны, в декабре 1936 года.

Известно, что, начиная с середины 20-х годов, в ходе уплотнения жилплощадь в этом огромном доходном доме 1911 года постройки предоставлялась артистам Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, так что, говоря словами Сергея Донатовича, «наша квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция».

Среди соседей Мечик-Довлатовых были: актриса Ленгосэстрады Алла Журавлева, музыкант Радиокomiteта Аркадий Журавлев, инженер-картограф Мария Цатинова, бухгалтер Ленинградского военного округа Зоя Свистунова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.